

# Мои первые шаги на сцене

Из воспоминаний Народного Артиста Республики В. И. КАЧАЛОВА

(Продолжение)

Специально для „ЭКРАНА“

Мои колебания разрешил один старый актер, который заявил:

— «Театр этот—Художественный,— конечно, вздор. Но... Москва! Стало быть, поезжай без лишних разговоров. Не пропадешь. Увидит тебя Корш и возьмет к себе, а то еще, чем чорт не шутит, увидит кто-нибудь из Малого Театра и возьмут тебя на императорскую сцену».

Это было для меня доводом самым понятным и убедительным.

— «Только, смотри, не продешеви себя. Хоть он и литератор (Немирович-Данченко), а торговаться надо»...

Я послушался и послал в Москву телеграмму о согласии.

В ответ на мои условия, поставленные Художественному Театру, пришла длинная телеграмма от Немировича-Данченко.

В ней я объяснил, что жалованье у них годовое (а не сезонное, как в провинции), что дело молодое, бюджет скромный, и потому он просит согласиться на высший оклад Художественного Театра—на 1.200 рублей в год, т.е. 100 рублей в месяц.

Я был почти оскорблен. Мне уже предлагали 500 рублей, правда, сезонных, но все-таки за год я мог заработать в Казани около трех тысяч, а тут вдруг... 100 рублей.

Я даже хотел ответить гордым молчанием. Но, повторяю, что-то тянуло меня к этому театру и жаль было разорвать с ним. Старый актер и тут помог:—«Проси 200! Если нужен—дадут. На двести проживешь. Потом наверстаешь, но уже больше не уступай. Не роняй цены провинциальной»...

Я с грустью, почти не веря в успех, послал свой ультиматум—200 рублей!

Дней через десять, уже почти примирившись с мыслью, что у меня ничего не выйдет с Художественным Театром, вдруг получил телеграмму: «Согласны 200. Выезжайте. Немирович-Данченко».

Эта задержка в десять дней, как потом выяснилось, была вызвана большими колебаниями и спорами в дирекции Художественного Театра.

Игравший тогда уже второй год «Царя Федора Иоанновича» Москвин получал 75 рублей в месяц и только на третий год стал получать 100 рублей. Книппер получала 100 рублей, Мейерхольд—около 100, а все остальные в 2 и 3 раза меньше... И вдруг какой-то Качалов, которого в глаза не видели, требует 200 рублей.

Это была сенсация среди труппы Художественного Театра, актеры ждали меня с любопытством и нетерпением, а многие и с недружелюбием.

В конце февраля 1900 года я был в Москве. Началось знакомство с Художественным Театром. Был великий пост, во время которого, как известно, спектакли не разрешались. Шли репетиции к будущему сезону. Театр готовил «Снегурочку» Островского.

В первом же разговоре со мной В. И. Немирович-Данченко сказал мне, что ему очень хотелось бы теперь же со мной познакомиться, посмотреть меня на сцене, т.е. устроить что-то в роде закрытого—без публики—дебюта, чтобы решить как лучше и на какие роли меня использовать.

## СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО

С детства В. И. Качалов увлекался театром. Его гимназические и студенческие годы прошли под знаком этого увлечения.

Окончив университет, Качалов в 1897 году едет в Казань, в труппу Борода, где он прослужил до 1900 года, до приглашения Художественный Театр. Не зная этого, тогда еще молодого театра, Качалов колебался—принять ли приглашение.

Я согласился и предложил показать-ся в двух ролях в «Смерти Иоанна Грозного»: сыграть в одной сцене Годунова, а в другой Грозного. Так как обе роли были мною играны в Казани, то я заявил, что мне не понадобится больше двух-трех репетиций—только бы сговориться с новыми партнерами о местах. Конечно, на репетициях я собирался только «пробормотать» про себя роль, как это делали в других театрах «настоящие» актеры, не давая никакой игры, а уже «заиграть» во-всю на самом дебюте. В этом заключался актерский «шик».

На первой же репетиции я потерял этот шик. Когда все кругом, даже исполнители самых ничтожных ролей, сразу заиграли во весь темперамент, загорелись, заволновались, зажили новой жизнью, преобразились в каких-то других людей, я уже не мог по-гастролерски бормотать и тоже «заиграл». И сразу же сам почувствовал, сам услышал, что это выходит у меня совсем «из другой оперы».

Насколько они были просты и естественны, настолько я ходулен и декламационно напыщен.

Я растерялся и заволновался, но все-таки овладел собой и пустился на хитрость, чтобы скрыть свой конфуз: к чему-то придрался, чтобы прекратить свою игру, и дальше уже «забормотал» роль про себя—не хочу, мол, репетировать во-всю...

Жадно следил—следил за интонациями артистов Художественного Театра, ловил их жесты, такие необычные, не актерские, такие характерные.

Все они показались мне замечательными актерами; чем меньше и незначительнее была роль, тем больше казался ее исполнитель. Я помню, что к исполнителю самой маленькой роли (боярин в Думе, три-четыре строки—вся роль), к громадному косому детине с наивным лицом, Баранову, я почувствовал что-то в роде благоговения: так необыкновенно сочно, красочно, широко прозвучала его интонация, такие широкие, богатырские были его взмахи рук, так живописно сидел он, расставив как-то по-звериному свои ноги.

Я ушел с репетиции ошеломленный, и на второй и на третьей репетиции повторилось такое же мучение.

Понятно, как волновался я в вечер дебюта. Конечно, собралась вся труппа, вся контора, даже капельдинеры, жены актеров, близкие друзья театра. Я сыграл сначала Годунова в первой картине, потом переменился и сыграл Грозного—вторую картину. Помню, что собой владел. Помню, что решил играть «честно», так, как я

играл бы в милой Казани, где меня любили в этих ролях.

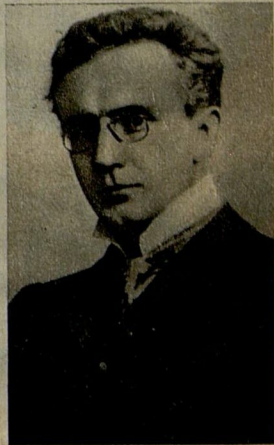
Но радости в душе не было, верев в то, что это хорошо, что так нужно играть,—ее было. Уже была душа отравлена какой-то новой правдой.

Отыграл. Стал разгирмироваться. Пришел в уборную. Станиславский, с очаровательной улыбкой, застенчивый и конфузющийся, как всегда, когда он не в работе, когда он не учит, не доказывает, не показывает.

— «Пожалуйста, отдыхайте, разгирмируйтесь, раздевайтесь. Я подожду».

Слова были простые, тон спокойный, ласковый. Но в этот именно момент я уже знал, что оценка моего «дебюта» будет беспощадной.

(Окончание следует).



В. И. Качалов в 1900 г.

132